**Давид Киржниц**

Опубликовано в <http://berkovich-zametki.com/Nomer25/Kirzhnic1.htm>

**ИНТЕРНАТ, МЕТЛИНО, ВОЙНА**

**От редакции.**

Предлагаемые заметки принадлежат члену-корреспонденту Российской Академии наук Давиду Абрамовичу Киржницу (1926-1998), выдающемуся физику и замечательному человеку. Они были написаны для сборника "Интернат, Метлино, война", изданному в 1998 г. бывшими воспитанниками интерната, о котором читатель прочитает ниже. К сожалению, Давиду Абрамовичу не пришлось увидеть этот сборник напечатанным, он был одним из его составителей и редакторов, но книжка вышла уже после его кончины. Этот же текст был воспроизведен в первом из двух томов книги "Д.А. Киржниц. Труды по теоретической физике и воспоминания", том 1, Москва, Физматлит, 2001. В этой же книге напечатаны воспоминания о Д.А.Киржнице профессора Б.М. Болотовского, который много лет дружил с Д.А. и работал с ним в Теоретическом отделе (ныне Отделении теоретической физики) им. акад. И.Е. Тамма Физического института им. П.Н. Лебедева Российской Академии наук. Статья Б.М. Болотовского будет напечатана в следующем номере журнала. Оригинальные публикации, к сожалению, малодоступны, упомянутые выше книги изданы очень маленькими тиражами. Поэтому редакция признательна супруге Д.А. Киржница - Раде Михайловне Полоз -- и Борису Михайловичу Болотовскому за разрешение опубликовать тексты воспоминаний в нашем журнале.



**Там, где будет город Челябинск-40**

8 июля 1941 года, через две недели после начала войны, от перрона Савеловского вокзала отошел эшелон с детьми московских медиков, эвакуируемых на Урал, где для них создавался интернат. По прибытии на место – город Кыштым Челябинской области – интернат временно разместился в пионерском лагере у подножья горы Егозы, а к началу учебного года перебазировался на зимние квартиры. Ими стало здание пустующего дома отдыха против села Метлино на реке Тече, в 25 км от Кыштыма. Именно там позднее возник закрытый город Челябинск-40, а в 1957 году прогремел утаенный от мира взрыв, поднявший на воздух многие тонны радиоактивных отходов... С осени 41-го до лета 42-го года я командовал интернатским радиоприемником, с чем и связаны прямо или косвенно сюжеты приводимых далее воспоминаний, которыми, спустя более, чем полвека, меня попросили поделиться мои товарищи.

**Школу**–**экстерном**

В Метлино была только школа-семилетка и поэтому старших ребят – примерно 10-15 человек – отправили обратно в Кыштым, где имелась десятилетняя школа. В их числе был и я, окончивший семилетку до войны. В Кыштыме, маленьком индустриальном городке, привлекательного было мало, и я соблазнился предложением моего товарища сдавать школьную программу экстерном. Поэтому с позволения начальства мы вернулись в Метлино, где я остался на год, а соблазнитель вскоре уехал к своей матери – врачу госпиталя на берегу озера Увильды. Позднее там начали работать мои мать и сестра, а потом и я сам.

Я серьезно нацелился осилить за первый учебный год программу двух классов – 8-го и 9-го. Это было вполне реально: с учебниками, слава Богу, мне помог интернат, навыками самостоятельной работы с книгой я обладал, ничто не отвлекало от дела, было относительно тепло и не очень голодно. С физикой и химией проблем вообще не было, а большую часть математики за десятилетку я превзошел еще до войны. Трудности были лишь с гуманитарными предметами, в особенности, с иностранным языком. Но, так или иначе, в конце зимы и в начале лета 42-го года состоялись две мои поездки в Кыштым для сдачи экзаменов за оба класса. Не обошлось тут и без курьезов: когда преподаватель литературы, написав на доске три темы сочинений, вернулась через час с вопросом, как дела, я ответил, что первую тему написал и сейчас заканчиваю вторую. Это было первое сочинение в моей жизни. Педагоги отнеслись ко мне очень тепло, даже по-матерински (мужчин среди них уже не было), и я до сих пор вспоминаю добром директора школы Верлинскую и особенно завуча Нину Васильевну. Хорошо помню также эвакуированную из Москвы преподавательницу французского Ольгу Львовну Долгополову, которая, как я узнал позднее, была одним из ведущих в стране специалистов по романским языкам, автором нескольких учебников и словарей. К сожалению, я забыл фамилию преподавателя астрономии (профессора Пединститута им. Герцена, эвакуированного из Ленинграда), который, экзаменуя меня, ежеминутно восклицал: «Ах! Я снова забыл, что Вы школьник, а не студент...» В общем, было трудно, но интересно.

Через год, пройдя в заочной средней школе курс 10-го класса, я сдал там же и заключительные экзамены. В результате, летом 1943 года в моих руках оказался аттестат об окончании средней школы. С ним я приехал в Челябинский областной военкомат с намерением подать документы в военное училище — и был изгнан со словами: «Гуляй, пока не призвали!». Так я вернулся в конце лета в Москву и поступил в Московский авиационный институт.

**Радиоприемник «Колхозник»**

Итак, осенью 1941 года я очутился в метлинском интернате и оказался там самым старшим по возрасту (без малого 15-ти лет). В это время интернату в порядке исключения разрешили иметь радиоприемник и вскоре у нас появился трехламповый батарейный супергетеродин «Колхозник» – плохонький собрат наших довоенных приемников СИ-235, ЭЧС-3 и ЭКЛ-34. Его вместе с батареями поместили внутрь специальной тумбочки, запиравшейся на замок. Нужно пояснить, что в начале войны все радиоприемники было приказано сдать (по-видимому, опасались неконтролируемых властями источников информации). Добавлю для иллюстрации, что годом позже я нашел в отвалах старого рудника кристалл свинцового блеска, намотал катушку-вариометр, а у моего коллеги- учителя остался с «довойны» наушник и конденсатор. Из всего этого мы собрали простенький детекторный приемник, едва берущий челябинскую радиостанцию (90 км). Кстати, именно этот приемник поведал нам о переходе наших войск в наступление под Сталинградом, и мы на радостях перебудили весь дом. А наутро пожаловал политрук госпиталя, забрал приемник и приказал запросить Челябинск, разрешены ли детекторные приемники. Ответ областного радиокомитета гласил: – «Только репродукторы»...

Работать с «Колхозником» и владеть ключом от тумбочки было поручено мне – я был старшим и, кроме того, считался радиолюбителем. Действительно, до войны я несколько лет занимался в радиокружке сначала в Доме пионеров, а потом на Детской технической станции. Благодаря этому я узнал о начале войны раньше других. В аккурат поздним вечером 21 июня 1941 года мы с товарищем, кончив монтировать на его даче трехламповый регенеративный приемник, завалились спать. Вернувшись рано утром с купанья, мы услышали от бледного и потрясенного отца товарища (он, проснувшись, начал крутить ручки приемника), что весь мир уже кричит о нападении немцев на Россию. А по нашему радио до 12 часов, т. е. до выступления Молотова, шли обычные передачи...

Как хозяин «Колхозника», я был обязан дважды в день слушать сводки Совинформбюро и вывешивать их для всеобщего сведения.

При этом, разумеется, нужно было наладить антенну и заземление, следить за состоянием ламп, батарей, не оставлять тумбочку незапертой и вообще содержать приемник в порядке. Всем этим я честно занимался до лета 42-го года, когда окончательно сели батареи, а достать новые надежды не было. А вскоре после этого я покинул интернат и уехал к родным в увильдинский госпиталь.

**Немецкое радио**

Кое-что делал я и «нечестного», в чем и хочу признаться. Представьте себе октябрь 41-го, немецкое наступление на Москву. Москва на осадном положении, паника 16 октября (впрочем, о ней мы узнали позже). В Москве мама, от которой нет никаких вестей (потом я узнал, что она пыталась эвакуироваться, вернулась в Москву и затем эвакуировалась вторично). Неудивительно, что я очень тревожился за нее. Огромная тревога была и за Москву, и каждое утро, услышав позывные и слова: – «Внимание! Говорит Москва...», – я вздыхал с облегчением. Однако, сведения о событиях на фронте доходили до нас скупо и их нам явно недоставало. Практически единственным их источником были принимаемые по радио сводки, в которых ощущалась очевидная недосказанность. (Например, только много позже стало известно о Вяземском и Брянском котлах, которые по существу и определяли в то время обстановку под Москвой). И вот в поисках дополнительной информации мы с приятелем после немалых колебаний решились в одну из ночей послушать иностранное радио. Языков мы не знали, но, на наше счастье, как раз в это время передавали приказ Гитлера перед началом очередного немецкого наступления. (Кстати, это была копия приказа Наполеона: «Солдаты, столько-то столиц Европы склонилось перед вами. Сейчас вы находитесь у стен последней столицы – Москвы. Вас ждут теплые зимние квартиры и т. п.»). Он читался на всех языках покоренной Европы, в том числе – на польском, словацком, сербском, так что смысл его был понятен. То, что мы услышали – бои в 100 км от Москвы в районе Можайска, Малоярославца и т.д. – совпадало с нашими данными и нас несколько успокоило.

Однако история с этим ночным слушанием имела драматическое продолжение. Вскоре меня вызвала наша заведующая Ревекка Борисовна Славина (которой я, пользуясь случаем, низко кланяюсь за все, что она сделала для всех нас, и от всей души желаю доброго здоровья). Она отрекомендовала сидящего у нее незнакомого молодого человека в пиджачке и при галстуке как работника райкома комсомола. А от него я услышал, что, как им известно, в интернате регулярно по ночам ловят немецкое радио и что он ждет моих объяснений на этот счет. И тут меня как прострелило! Я сразу понял, что это никакой не комсомолец, а энкаведешник. Я знал из многократных призывов матери к осторожности, что полная уголовная ответственность наступает в 12 лет и ясно почувствовал, что мое поведение в ближайшие минуты решит мою судьбу. Обычно я плохо владею собой в серьезные моменты, краснею, мямлю, но тут от сознания критичности ситуации прибавилось и душевных сил, и самообладания. Как сообщила мне потом Ревекка Борисовна, я, не изменившись в лице, спокойно сказал, что не знаю, откуда у него такие сведения, что моя обязанность, которую я и выполняю, – принимать и вывешивать сводки, что в редких случаях, когда меня просят, мы открыто слушаем музыку, но никакого немецкого радио я не ловил и ловить не собираюсь. Видимо, сказано это было достаточно весомо, и чекист, помолчав, промолвил: – «Ну, ладно, можешь идти». К счастью, этим все и кончилось и никаких последствий эта история не имела, не считая, конечно, моего долгого возвращения к нормальному состоянию (настоящий страх пришел лишь на следующий день). Подозреваю, что «заложила» нас воспитательница, которая дежурила в ту ночь неподалеку от приемника. Что побудило ее подставить подростков 14 лет под 58-ю статью? Видимо, одно из страшных последствий эпохи 37-го года: уцелевших заразили шпиономанией и врагобоязнью.

**Беседы у радиоприемника**

Другим «нечестным» деянием, связанным с приемником, были разговоры, которые вел со мной очень симпатичный пожилой бухгалтер нашего интерната по фамилии Обрадович (насколько я помню, звали его Сергей Дмитриевич). Это был типичный «недорезанный» интеллигент, невысокий, полуседой, в пенсне, со скромными усиками щеточкой и старомодным произношением.

Свела нас вместе обстановка на фронте. На дворе стоял июль 42-го, немцы были под Ростовом, рвались к Сталинграду и на Кавказ. Обрадович мучительно переживал события, понимая, что решается судьба России. Поэтому он регулярно сидел рядом, когда я принимал сводки. Конечно, мы не молчали и часто, особенно в отсутствие посторонних, вели разговоры на самые различные темы. Прежде всего это были комментарии к фронтовым событиям (как я понимал, мой собеседник имел какое-то отношение к армии во время Первой мировой войны). Помню, например, что о падении Ростова в сводках прямо не говорилось, но это название вдруг из них исчезло, и стали упоминаться бои в районе Батайска (город за Доном южнее Ростова). Я предположил, что, наверное, немцы Ростов обошли, но Обрадович обрезал меня: – «Не будь дураком, неужели ты не видишь, что армия бежит...». Потом он много расспрашивал меня о родителях, очень смеялся, узнав, что мой дед в Иркутске прятал троих беглых ссыльных — меньшевика, большевика и бундовца, а потом выдал за них трех своих дочерей, задавал много вопросов о моей довоенной жизни. Немного рассказывал и о себе. Сейчас я уже точно не помню, но у меня осталось впечатление, что какие-то репрессии коснулись и его семьи.

По-видимому, на сердце у него накипело, и он остро нуждался в собеседнике. Как это ни покажется невероятным, но в наших разговорах он не раз переходил границы осторожности и благоразумия, по существу вверяя свою судьбу 15-летнему подростку, который мог его выдать, хотя бы по простой неопытности или неосторожности. Так, отвечая на мой вопрос о причинах наших поражений в первые два года войны, Обрадович рассказал, что вслед за Тухачевским, Якиром и другими были репрессированы многие тысячи высших и средних командиров. Он дал мне понять, что, хотя будучи глубоко религиозным человеком, и молится за нашу победу, но считает нашествие немцев справедливым – в некотором высшем смысле – возмездием руководству страны за те жертвы (и человеческие, и духовные), которые она понесла в довоенные годы. Одновременно он много рассказывал о тоталитарном устройстве немецкого рейха, о руководящей роли фашистской партии (в ней ячейки создавались не по месту работы, как у нас, а по месту жительства) и т. п. В общем, Обрадович подводил меня к мысли, что между Германией и СССР нет никакой принципиальной разницы и, страшно сказать, наш режим не очень отличается от фашистского. Все время повторялся главный рефрен: «Несчастная Россия!» При этом, как я понимал, имелась в виду Россия не только 42-го года, но и предыдущей четверти века. Эти разговоры за радиоприемником дали мне очень много в фактическом отношении и, главное, укрепили мои критические взгляды (о них говорится ниже), хотя, конечно, счастья не прибавили – жить с этим грузом стало еще труднее.

**Тридцатые годы**

Почему же все-таки Сергей Дмитриевич проявил в беседах со мной существенно меньшую осторожность, чем это полагалось по суровым законам того времени? Мне кажется, что он просто посчитал меня заслуживающим доверия. Прежде всего, он сразу увидел, что я интроверт, держу свои мысли и эмоции внутри себя, и нужно приложить усилия, чтобы они вышли наружу. Поэтому маловероятно, чтобы я просто так сболтнул лишнее. А, главное, он почувствовал, что по своему развитию я стою заметно ближе к нему, чем к своим сверстникам. Понимаю, что сказанное может вызвать недоверие и быть воспринято как проекция нынешнего умонастроения на то время. В попытке все же убедить читателя мне придется отвлечься от интернатской темы и вернуться к довоенным временам.

Мои родители, думаю, понимали достаточно много. Отец был старый революционер, член Бунда, оставшийся беспартийным при слиянии этой партии с РКП. Для матери же были всего дороже общечеловеческие ценности. Однако при мне они ничего плохого о режиме не говорили. (Впрочем, во время Большого Террора, когда от редких гостей постоянно слышалось: «Наверное, Сталин ничего не знает...», отец так откровенно ухмылялся, что это замечал даже я, отрок. А во время войны у нас с мамой происходили уже вполне откровенные разговоры). У меня был дядя (беглый меньшевик, когда-то прятавшийся у деда), достаточно умный и смелый человек, который не выбирал выражений. «Нами правит шайка бандитов» – звучал его неизменный приговор, когда в начале 30-х годов семья собиралась за столом и он разворачивал газету. Будучи тогда сопляком лет шести-семи, я, конечно, не мог проникнуться смыслом этого высказывания, но какой-то след в душе он оставил.

Позже след этот стал углубляться. Годы 32-й и 33-й: непрерывные звонки в дверь – крестьянки с детьми просят корочку хлеба. По дороге в школу на бульваре лежат на скамейках голодающие, и не поймешь, живы ли они, а солдатики (крестьянские же дети!) сгоняют их сапогами и прикладами. Год 32-й, мне около 6 лет. Мы, полуголодные воспитанники детской группы на Яузском бульваре, стоим вокруг мальчика и смотрим, как он ест ослепительно белую булку с невиданной красной рыбой. Хорошо, если у нас есть ломтик черного хлеба с повидлом. «А мой папа чекист!» — гордо говорит мальчик. Год 34-й, декабрь, темно, я возвращаюсь из школы и останавливаюсь около стенда с газетой. Убит Киров. А за спиной голос: «Ну, теперь такое начнется, только держись... Qui prodest?»[[1]](http://www.berkovich-zametki.com/2010/Zametki/Nomer7/Merzon1.php%22%20%5Cl%20%22_ftn1%22%20%5Co%20%22). Годы 36-й–37-й, всеобщая вакханалия, один за другим исчезают друзья дома, старые каторжане и ссыльные, герои гражданской войны и подполья, мои кумиры с раннего детства. Вопросы, обращенные к родителям: «Неужели дядя Вася, у которого шашка с орденом, может быть врагом народа?» – и их невразумительные объяснения. Год 37-й, процесс Пятакова-Радека, митинги по всей стране с требованием расстрела. Я среди домохозяек и пенсионеров в ЖАКТе (тогдашний ЖЭК): исступленные лица. Попробуй сказать что-то не так – разорвут в клочья.

Год 1938-й, февраль. Арест отца, обыск, красноармеец шарит в моей постели. Лейтенант Огурцов вызывает по телефону машину, отца уводят... Март того же года, окончание процесса Бухарина. Большая перемена в школе, мы с другом Володей Шумяцким (сыном расстрелянного сибирского большевика) играем под лестницей. Пролетом выше нянечка протирает пол. Сипит радио: «...к высшей мере наказания – расстрелу: Бухарина Николая Ивановича, Рыкова Алексея Ивановича, Крестинского Николая Николаевича...», нянечка бормочет вполголоса: «Ууу, людоед, не напился еще кровушки, все тебе мало, ирод...!» Мы слышим все это и переглядываемся.

Январь 1940. Отец оправдан и возвращается с подорванным здоровьем домой после двух лет следствия в Бутырках. Я подслушиваю его скупые рассказы о том, что такое активное следствие: медицинская комиссия в начале следствия (для тех, кто пойдет на процесс) выявляет слабые места организма, на которые потом воздействует следователь. Отца, всю жизнь мучившегося от, деликатно выражаясь, почечуя, сажают на стул с торчащим ржавым гвоздем. Он сумел соорудить петлю, но уйти из жизни ему не дали. (Умер отец уже на воле через три месяца после возвращения)...

Начало 1941. Вместо урока литературы нас везут в музей Горького в его дом на Спиридоновке. Особняк Рябушинского – творение архитектора Шехтеля. Роскошные апартаменты, дивная лестница, редчайшая коллекция японских поясных украшений – «нэцке», на которую Буревестник потратил, наверное, не меньше, чем Рябушинский на свои дома и яхты. Ничего себе, великий пролетарский писатель!..

И еще одно трагическое событие, ужас которого раскрывался передо мной постепенно... У упомянутого выше дяди Васи (Василия Сергеевича Анучина) была дочь Ляля, друг моего детства, – наши матери были подругами с гимназических времен. Ее отец, командир отряда, освободившего в гражданскую войну Иркутск от белогвардейцев и тогда же покоривший сердце молоденькой студентки, в 37-м был арестован и вскоре расстрелян (его прах покоится в братской могиле на Донском кладбище). Через короткое время взяли и его жену, а Лялю, которая была старше меня года на два, приютили дальние родственники. После этого она перестала появляться у нас дома. На мои расспросы о Ляле мама не отвечала и как-то странно отводила глаза. Позже я случайно подслушал ее разговор и узнал, что Ляля, не выдержав тоски по родителям, травли в школе и горькой сиротской жизни у родственников, застрелилась 15 лет от роду из охотничьего ружья.

Все эти события медленно, но верно деформировали мое сознание, подтачивая тот стереотип взглядов и поведения, которому следовали мои товарищи. Их упоение пионерской символикой, тимуровскими, макулатурными и металлоломными подвигами, уверенность в своем счастливом детстве, дарованном великим Сталиным, в самой свободной в мире стране, убежденность, что страна кишит шпионами и диверсантами – все это стало вызывать у меня улыбку (а потом и раздражение). Хотя, конечно, до настоящего понимания того, что произошло в ХХ веке с нашей несчастной страной, было еще очень и очень далеко. Но и того, что уже имелось, было достаточно для утраты той незамутненности восприятия мира, которую требует нормальное детство и отрочество. Впрочем, множеству детей и подростков, оторванных от родителей и брошенных в детприемники, спецдетдома и даже в лагеря, было во сто крат хуже... Надеюсь, что этот экскурс в проклятые довоенные годы, не только объяснит, откуда взялись критические взгляды у совсем еще зеленого юнца, но и природу доверия со стороны моего старшего друга. Кроме того, этот экскурс, я надеюсь, убедит моих друзей по интернату, что их старший товарищ был нередко «в думу погружен» (как писала в своей поэме позже Рина Межебовская) не от большого ума, а скорее наоборот – от мучительных (ведь шла смертельная схватка с фашизмом) и в большинстве бессильных попыток ответить на кучу проклятых вопросов при полной невозможности задать их окружающим прямо и открыто...

**Коротко о родителях**

Моя мать, Любовь Соломоновна Киржниц, родилась в г. Рогачеве в Белоруссии в 1897 году, 100 лет тому назад. Я очень благодарен составителям этого сборника за возможность отметить ее юбилей нижеследующими строками.

Когда мать была еще девочкой, дед со всем семейством вырвался из черты оседлости и переехал в Иркутск. Он занимал официальную должность казенного раввина, к религии не имеющую отношения, а соответствующую функциям нынешнего ЗАГСа в еврейской общине. Кроме того, дед был этнографом-любителем, заочным учеником академика Веселовского, автором многих книг. Бабушка же преподавала иностранные языки. Дом деда был одним из культурных центров дореволюционного Иркутска, где собиралась интеллигенция, ссыльные, местные жители-субботники, исповедующие иудаизм. Частым гостем там был известный исследователь Азии этнограф Г.Н. Потанин.

После окончания гимназии мать поступила на исторический факультет Иркутского университета, но проучилась там всего два года. Рождение дочери, моей старшей сестры, а затем гражданская война заставили ее бросить учебу. Во время колчаковщины вместе с дочерью и мужем она эмигрировала в Харбин, откуда семья собиралась уехать в Америку (были даже куплены шифскарты). Однако вместо этого все они вернулись в Иркутск, затем до 1924 года жили в Новониколаевске (Новосибирске) и потом окончательно осели в Москве. Не получив законченного образования, мать долго занималась журналистикой, потом служила в советских учреждениях и лишь за несколько лет до войны нашла работу, которая отвечала ее способностям и темпераменту. Она стала культработником в психиатрических больницах и работала в этой должности (исключая войну) до самой пенсии. Эта работа была далеко не простой и требовала помимо чисто профессиональной, литературной, художественной, музыкальной и актерской культуры, еще и определенных психологических и медицинских знаний, интуиции и быстроты реакции, простого человеческого мужества (работать приходилось и с буйными больными). Во время войны она работала медицинским статистиком и вела учет всего, что относилось к ранбольным (так тогда называли раненых), в госпиталях – сначала в эвакогоспитале № 3881 в Нижнем Кыштыме, затем в эвакогоспитале № 3116 на озере Увильды. На Новый 1942 год она подбила еще нескольких мам, и они пешком, в сильную метель пришли за 25 км в Метлино из Кыштыма.

Мать была человеком твердых моральных принципов, развитого чувства долга и совести. Перед самой войной невольно, в результате роковой случайности, она причинила зло одной женщине. Это мучило ее постоянно, вплоть до последних дней жизни. Она обладала высокой культурой, сочетавшейся с природным интеллектом, хорошо знала литературу, историю и музыку, сама неплохо играла на рояле. В то же время она начисто была лишена снобизма по отношению к так называемым «простым людям», и я не раз был свидетелем, как они привязывались к ней, испытывая благодарность за то добро, которое они от нее видели. После смерти матери, последовавшей в 1977 году за три дня до ее 80-летия, осталось немало людей, сохранивших о ней добрую память.

Отец, очень занятой человек, ушедший из моей жизни, когда мне было всего 11 лет, мало занимался моим воспитанием. Эта забота почти целиком легла на плечи матери, которой я обязан всем хорошим, что во мне было, когда я вышел в самостоятельную жизнь...

Мой отец, Абрам Давидович Киржниц, родился в 1887 г. в г. Бобруйске в семье мелкого ремесленника. Окончив всего 4 класса городского училища, он благодаря самообразованию стал высококультурным человеком (в частности, владел несколькими иностранными языками). В анкетах в графе «Образование» он писал «тюремное», имея немалый дореволюционный тюремный и ссылочный стаж, поскольку в дореволюционные времена тюрьма была подлинным очагом культуры. Впрочем, и в конце 30-х в своей камере в Бутырках, в которой обретались инженеры, учителя, врачи, ученые, отец организовал лекторий, где каждый делился знаниями по своей специальности. Вместо доски использовалась спина согнувшегося слушателя в темном пиджаке, вместо мела — кусок штукатурки. К слову сказать, физик Ландау, тогда же сидевший в Бутырках, до этого не додумался и очень страдал от отсутствия карандаша и бумаги (знаю это с его слов). По профессии отец был историком революционного движения и революционной печати, библиографом и журналистом. Он был автором десятков книг и брошюр, множества газетных заметок. К сожалению, из его литературного наследства уцелело крайне мало, а свою библиографию он создавал уже в последней больнице и успел ее лишь начать. К стыду своему я, его сын, плохо представлял себе масштабы следа, который он оставил. Тем большим было мое удивление, когда 20 лет назад меня разыскал молодой историк А.В. Ратнер, а не так давно – член-корреспондент Российской академии наук Р.Ш. Ганелин из Ленинграда. Оба интересовались архивом отца. Еще удивительнее было напоминание о 100-летии отца, которое сделал редактор журнала «Советише Геймланд» поэт Хаим Бейдер, когда, договорившись с ним о публикации в журнале книги деда, я оставил ему записку с телефонами, и он увидел мою фамилию. И в довершение, совершенно неожиданный для меня звонок из Минска из редакции «Беларуской Энцыклыпедии» с просьбой прислать заметку об отце. Задолго до революции отец стал видным деятелем Бунда, боровшегося, как известно, за национально-культурную автономию евреев в России. Неудивительно, что в конце 20-х годов, когда на Амуре была выделена территория для освоения ее нашими и зарубежными евреями и создано переселенческое общество ОЗЕТ, отец стал одним из его активных сотрудников. Он не один раз ездил туда – сначала на станцию Тихонькую с первой партией переселенцев, корчевавших тайгу в трескучий мороз, потом в возникший на этом месте г. Биробиджан. Не так давно, во время конференции на Амуре, я нашел в архивах следы деятельности отца.

В начале 1938 г. отец был арестован и два года содержался в Бутырках. Готовился большой процесс «О продаже Дальнего Востока японцам», где в числе обвиняемых была группа сотрудников ОЗЕТа. В итоге следствие (имевшее «активный» характер) растянулось до прихода Берия, после чего дело было прекращено, а сам отец в январе 1940 г. получил свободу. Мы его ждали, так как и арест и освобождение озетовцев происходили по алфавиту. В апреле того же года отец, здоровье которого было подорвано, скончался... На его похоронах мама подвела меня к группе мужчин в шляпах и сказала: «Это сын А.Д.», а они протягивали мне как взрослому руку и называли себя — Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Самуил Галкин, Лев Квитко... Мама сказала: – «Сынок, запомни эту минуту. Я тебя познакомила с цветом еврейской литературы». Все они проходили после войны по делу Еврейского антифашистского комитета и вместе с другими были расстреляны (кроме Галкина) в августе 1952 г. К сожалению, я не знаю, какие общие точки были у отца с этими людьми (эта сцена всплыла в моей памяти слишком поздно, когда спросить было уже не у кого...).